

Выдающийся петербургский композитор Борис Тищенко, думаю, в представлении не нуждается. Автор шести симфоний, трех балетов, множества камерных, вокальных, инструментальных произведений и большого количества музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам известен достаточно большому кругу любителей музыки — ведь исполнительская судьба его творчества складывалась в прошлом очень счастливо (а по нынешним меркам — в особенности), что в жизни современных композиторов бывает, увы, нечасто. С вопроса об этом мы и начали беседу.

— Борис Иванович, чем вы объясните свою столь удачную творческую биографию? Ведь вы всегда, насколько мне известно, считались человеком довольно «неудобным»; долго были «невыездным», в компартии никогда не состояли...

— Да я и сегодня «неудобный»! Однако никогда не становился ни у кого на дороге — не рвался к власти, не участвовал в дележе кресел. Поэтому с коллегами у меня очень добрые отношения. И мне всегда очень везло с исполнителями. Судите сами: Мстислав Ростропович, Виктор Либман, Сергей Стадлер; дирижеры Кондрашин, Светланов, Блажков, Серов, Дмитриев...

— Мне часто доводилось слышать, что Тищенко, мол, всегда бывший «правдолюбом» и радикалом, в последнее время стал очень умеренным, спокойным...

— Так сейчас все правду говорят! Даже тот, кто не знает, что такое правда, просто лезет из кожи вон, чтобы ее сказать. Знаете, у Ильфа в «Записках книжках» есть такая фраза: «Борьба с подхалимажем дошла до такой степени, что с начальством были просто грубы». Когда разрешили, когда началась «гласность», все стало страшно смелым. А раньше действительно — лишь единичные говорили то, что думают. И я на самом деле стал более умеренным — хотя бы из чувства противоречия. Ну не хочется мне «идти в ногу». Не хочется! Пусть все друг друга «обкалывают» — я за свою жизнь уже накамил достаточно. (Смеется.) (Авт.).

— Но вашу музыку могли просто не исполнять — и кто бы тогда узнал о композиторе Тищенко?

— Все это было; с юных лет у меня сочинения подолгу лежали. Первая симфония лежала лет девять; скрипичный концерт лет десять, «Тараканье» — двадцать до первого исполнения провалился... Я, знаете, никогда не обращал на это внимания. Просто писал.

— Я знаю, что ваш «Реквием» на стихи Ахматовой пролежал «в столе» — ни много ни мало — двадцать три года. Наверное, ощущение, испытываемое автором при этом, далеко не из приятных?

— Вы знаете, нет. «Не смертельно», как говорится. Во всяком случае гораздо приятнее осознавать то, что сочинение у тебя в столе, чем то, что оно еще не написано.

— Было ли в вашей жизни событие, которое можно было бы назвать «этапным», с которого началось признание? — Важнейшим событием в жизни, несомненно, явилось для меня знакомство с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Именно он со словами: «на счастье!» протянул мне левую руку 25 марта 1963 года. Тогда состоялся, можно сказать, мой дебют — в Колонном зале Дома союзов я сыграл свой фортепианный концерт, и эту дату я считаю моим выходом в «большую жизнь». Второе событие — это когда в 1966 году я, совершенно для себя неожиданно, получил Первую премию на международном композиторском конкурсе в Праге; сразу же после этого мой виолончельный концерт исполнил Ростропович...

— Международное признание подошло довольно быстро...

— Да, причем все как-то «само пошло» — никаких усилий для этого мне прилагать почти не пришлось.

— Однако сегодня ваше имя — впрочем, как и любого современного автора — редко увидишь на филармонической афише. И странно, что публика сегодня довольствуется нехитрым «меню» из нескольких классических симфоний.

— Это беда. Публика в наше время как-то страшно, извините, поглупела. Вот сравниваю с послевоенным временем — ведь я помню посетителей Филармонии того периода — 50-х, 60-х годов. Люди были совершенно иные! Правда, должен оговорить, что количество ныне перешло в качество: серьезной публики стало меньше, но уровень ее очень сильно вырос. При этом культура «среднестатистического» слушателя упала катастрофически. И мне грустно, хотя я прекрасно сознаю, что это явление не российское, а всемирного порядка.

— Значит, этим обстоятельством и следует объяснить падение в основной массе меломанов интереса к современной музыке?

— Виновата не только публика. Чтoby составить представление о какой-либо музыке, ее сначала надо услышать. С симфоническим музицированием в стране плохо, в основном за счет «поглощения» не публики, а наших, с позволения сказать, оркестровых «мэтров».

То, что происходит у нас в городе — это надругательство над петербургской культурой! А вы — об интересе к современной симфонической музыке... Говорят, что рыба гниет с головы — а наша музыкальная культура гниет с главного дирижера Филармонии. Это одна из многих причин упадка.

— Кстати, на Западе многие уважающие себя оркестры — будь то коллекция мировой известности или муниципальный — считают своим долгом на открытие сезона исполнить новую музыку. Произведения специально заказываются к юбилею оркестра, города, просто к празднику...

— Я вам скажу, что разучивание новых произведений требует сил, таланта и доброжелательности. А когда нет ни того, ни другого, ни третьего — что же делать?

— Но бывает и такое мнение, что собственная симфония, как форма, пришла в упадок, полностью исчерпала себя в творчестве Малера или, скажем, Шостаковича...

— Эту песню я слышу довольно ча-

стане станет еще хуже; я они даже не подозревают, насколько быстро! Придется ту же затягивать ремни — и вновь творить, что называется, «в ящик». Впрочем, я умею это делать.

— Извините, но, по-моему, вы уже этим и занимаетесь. Я даже не берусь сказать точно, сколько времени ваша музыка не звучит, например, в Большом зале Филармонии...

— Я могу вам подсказать — с приходом на пост главного дирижера Темирканова. Он просто запретил исполнять мою музыку в обоих залах Филармонии. В Малом зале переусердствовали до того, что даже сорвали наш концерт с Ниной Бейлиной, где я должен был выступить в качестве пианиста. Было очень стыдно перед известной американской скрипачкой. Счастье, что Дом композиторов предоставил нам зал — спасибо ему за это.

— За что же подобная немилость?

— За то, что я позволил себе в свое время выступить в печати с критикой по адресу избалованного и капризного

смотря на то, что я очень любил этот оркестр... Там много высококлассных профессионалов, да и просто моих друзей.

— Однако пластинок с вашей музыкой в магазинах тоже не купить, хотя в отношении записей — и не только «тап», но даже и на «Мелодии» — вас, наверное, можно назвать достаточно благополучным человеком?

— Да, пожалуй. Хотя записано далеко не все, но в Союзе у меня пластинок десяток, а то и полтора, наверное, есть. Но записано все это уже давно, а «Мелодия» сейчас «перестроилась» и шлепает только «искусство общего пользования». Про нас же и не вспоминает, хотя даже с коммерческой точки зрения есть резон: тиражи давно распроданы, матрицы хранятся, напечатать еще... Нет! И здесь речь не только о моих записях — попробуйте купить пластинку Мравинского. Шостаковича, Брукнера... Но как будто бы просто в воздухе философия такая носится: «чем

еле смычками водят — чтобы, не дай Бог, лишней волос не порвать... Это так страшно! Ей-Богу, для меня последнее время исполнение в нашей Филармонии было наказанием каким-то...

А вы были знакомы с Мравинским?

— Да, и общение это для меня было очень плодотворным. Он, например, был инициатором моей Пятой симфонии, которая посвящена памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Если бы не Евгений Александрович, то неизвестно, когда бы я приступил к работе над ней. Мы с ним не так часто общались, но человеку этому я обязан очень многим.

— Вы были учеником Шостаковича, но, говорят, вас связывала и большая личная дружба?

— Да, мы были знакомы с ним четырнадцать лет, до самого конца. Много общались, переписывались; бывали друг у друга в гостях, вместе музицировали...

— В связи с этим я не могу не спросить вас о нашумевшей в свое время книге Соломона Волкова, изданной на Западе мемуары Шостаковича.

тому что сочинение бывает иногда очень кривое, корявое какое-то — но любимое; а бывает довольно совершенное — но к нему я отношусь гораздо спокойнее. Пожалуй, одно из самых любимых — Четвертая симфония.

— Она для большого состава?

— Состав оркестра огромный! И слышал я ее только один раз — благодаря подвижническому труду Геннадия Рождественского. Он, помню, отменил симфонию Брукнера, взял девять репетиций...

— Ого!

— Да... И все равно было очень много досадных накладок. Она очень трудная для исполнения! Кстати, писал я ее как раз «в стол». Никогда не надеялся услышать! Но благодаря такому подвижнику Геннадия Николаевича она прозвучала почти сразу после того, как я закончил партитуру. Это было, как сон... И чем дальше, тем меньше у меня шансов услышать ее вновь. Вот она как раз из любимых вещей, хотя сучковатостей, «корявостей» всяких в этой симфонии — хоть отбавляй: и в оркестровке, и в мелодизме, и в форме. Пятую фортепианную сонату очень люблю, хотя давно не играл — надо будет восстановить ее в пальцах... А что касается «удавшихся» по всем внешним признакам сочинений — то это, пожалуй, вторая виолончельная соната.

— Мне говорили, что вы очень любите Моцарта...

— Да, конечно!

— ...и что каждый день его помногу играете?

— Ну, нет! Сегодня у меня «в пальцах» гораздо больше Шостаковича, пожалуй.

— Кстати, от многих композиторов вас выгодно отличает еще и блестящее владение фортепиано.

— Спасибо, такую похвалу мне приятно слышать. Я все время вспоминаю случай с Глазуновым — знаете, после того, как он дирижировал премьерой своей Восьмой симфонии. Все заходит за кулисы, поздравляют — а он стоит наспушенный и все больше мрачнеет. Наконец одна дама говорит: «Александр Константинович, ну почему вы такой грустный? Вы же написали такую замечательную симфонию». На что он мрачно пробубнил: «Да, все говорят, какой я композитор, а никто ни слова не скажет о том, какой я дирижер!»

— А как вы относитесь к «сервализму», к додекафонизму?

— Да так трудно ответить: они же все разные! Как и композиторы, пользовавшиеся классической гармонией: ведь среди них были и Моцарт, и Сальери; Бетховен, к примеру — и... Так и здесь — когда, например, дело в руках Шенберга или Альбана Берга — то это гениально; а когда...

— ...скажем, Каретникова?

— Ну, Каретникова мне не хотелось бы задевать — он и так, по-моему, больше всех пострадал...

— Мой последний вопрос будет обращен к вам, как к профессору Петербургской консерватории. Среди ваших нынешних учеников можете ли выделить яркий талант, «восходящую звезду»?

— Всегда очень трудно говорить о тех, кто подрастает, — человек может оправдать надежды, а может и нет...

— Тогда я вопрос немного скорректирую: есть ли у вас любимые ученики?

— Я всегда в таких случаях говорю об Ирине Цеслюкевич — по-моему, это выдающийся талант! Она написала несколько замечательных вещей — в частности, кантату «День», оперу «Конец Казановы» по Цветаевой — ее поставил Покровский в Москве. У нее, кстати, есть прекрасная симфония, написанная еще у меня в классе. Ирина почему-то ее ужасно стеснялась и не «выпустила» нигде исполнять, хотя я и очень настаивал... Есть еще недавний мой выпускник — Леонид Резетдинов, очень много пишет, страшно трудолюбивый.

— Из его сочинений я слышал только симфоническую «Давайте строить музыку» и должен сказать, что сильное впечатление она на меня произвела...

— Я думаю, что Леонид может быть, еще не написал того, что должен написать. Порой мне кажется, что у него в музыке как бы немного больше нот, чем надо... Но от этого молодые люди со временем избавляются — и понимают, что «выгоднее» писать нот чуть меньше, но каждую нагружать смыслом чуть побольше. Как, например, у Уствольского. Хотя говорить о «выгоде» применительно к такому бескорыстнейшему таланту, каким является Галина Ивановна, конечно, нелепо. Среди учеников можно еще отметить Ольгу Петрову, Валерию Пигузову, Александра Макарова, Анну Абдулаеву, Ариэля Давыдова... Знаете, так сложно очень говорить — все время боишься кого-то упустить, а потом за голову хватаешься! Но есть, есть таланты. Одаренных ребят очень много — хватило бы им только сил выжить и нормально при этом работать. Ужасно жизнь наша гробит таланты!

С гостем встречался Кирилл ШЕВЧЕНКО Фото Андрея САМАТУГИ

«УЖАСНО ЖИЗНЬ НАША ГРОБИТ ТАЛАНТЫ!»

Смелая. Санкт-Петербург. 1992-22 авг.



— ...Сегодня люди иногда вообще ведут себя, как ученики начальной школы, когда заболел учитель: можно ничего не делать... Какой-то инфантилизм! — считает гость «Смены», петербургский композитор Борис Тищенко. — Не просто равнодушие — какая-то ненависть к искусству у людей! Откуда у нас это — не понимаю...

любимца. Не удивлюсь, если в этом сезоне — в год столетия Марины Цветаевой — не состоится исполнение моей Второй симфонии (первого сочинения на ее стихи), которого добиваются музыканты. Для этого человека нет ничего святого!

— Но насколько вообще правомочен такой запрет? Тем более — в наше время...

— Во-первых, с «тех пор» в Филармониистановка лишь ухудшилась. А потом... Ведь мы глухи, слепы! Сейчас не только равнодушие, но и какая-то ненависть по отношению к искусству у людей! Знаете, любые пороки произрастают на соответствующей почве. И мне, петербуржцу, закрыт доступ в Филармонию — то место, которое считаю моим домом: я там вырос!

— Неужели Темирканов вас так возненавидел? Признаться, подобные «запреты» на музыку напоминают уже нечто из жизни поп-исполнителей.

— Согласен. Но именно он сорвал на III международном музыкальном фестивале исполнение Реквиема на стихи Ахматовой. И это накануне 100-летия Анны Андреевны! На что рука поднялась! Затем, 23 мая 1989 года, в день юбилея поэтессы, он попытался запретить исполнение в Большом зале. Но я припугнул судом (есть такая статья — месь за критику). Мастеро «сдрейфил», и концерт состоялся. Правда, Темирканов навестил репетицию: следя, чтобы оркестр, не дай Бог, не проявил бы вдохновения и таланта. И тут же после исполнения уволил из Филармонии Эдуарда Серова. В общем, хорошо, что этот человек все время гастролирует — меньше вреда. Как только придет — так какая-то гадость.

— Недавно мне довелось прочесть французскую рецензию о последних гастролях заслуженного коллектива во Франции. Статья называлась «Нам надо забыть этот оркестр».

— Верно. Нам с вами — тоже. Не

хуже — тем лучше! Пропали все пропади! Обвал — так пусть тогда всех завалявает! Откуда это у нас — не понимаю. А иногда люди как будто еще и нарочно вредят, вредят — как, например, уже упоминавшийся Темирканов. Такое впечатление, что человек просто поклялся этому городу навредить или отомстить за что-то. Из ревнивой обиды на божественный дар своего гениального предшественника, что ли?

— Знаете, когда поговоришь с оркестрантами, создаешь впечатление, что им абсолютно все равно, как и с кем играть, главное — выгодные гастроли с хорошими «башлями». А отношение музыкантов к исполнению новой музыки очень показательно — раскрывает небольшой пример. Когда второй филармонический оркестр записывал симфонию Асламзоева, то в ответ на замечание композитора (возмущенного тонкой «шуткой» оркестранта, вместо игры на ударных лупившего молотком в пол) артист оркестра просто... не печатал «послал» автора, нисколько не смутившись тем, что идет запись, ни присутствием в зале съёмочной группы ТВ. Хороший штрих к культурному портрету «петербургского» коллектива, не правда ли?

— У меня года два назад в Москве исполнился второй скрипичный концерт. Я сидел на репетиции в маленькой церкви у Цветного бульвара, и меня просто поразило доброжелательное отношение оркестрантов — я здесь от такого совершенно отвык! Я так тихонечко Сереже Стадлеру и говорю: «Надо же! На репетиции совсем не слышно матерщины!» А кто-то из оркестра услышал и говорит: «Да Бог с вами! Почему же должна быть матерщина?» Мне так неудобно стало... Но здесь нас к этому просто приучили! Помимо извечных оркестрантских «шуток», ругательств, которые я нахожу в нотах после исполнения, само отношение просто оскорбительно: сидят нога на ногу, кто-то демонстративно книжку читает, еле

— Ух, этот вопрос мне задают постоянно, на каждом шагу! Уже отвечать не могу... Волков просто умолил меня в свое время, чтобы я привел его к Дмитрию Дмитриевичу. Шостакович согласился, но сказал: «Приходите вместе, Боря, — я хочу, чтобы вы при этом присутствовали». И рассказывал Дмитрий Дмитриевич очень скромненько ему — о своих первых годах, об игре в «Баррикадах», о Глазунове, об Асафьеве... Ну вот настолько наговорил, а Волков выпустил толстенную книгу. Он опросил множество людей, всех — в том числе и меня, дурака! А затем, видимо, исхитрился получить у Шостаковича подписи на какой-то бумаге — и просто-напросто выдал все это за его мемуары. Это никак не мемуары; почти все высказывания Дмитрия Дмитриевича, приведенные в книге, получены из третьих рук. Шостакович был человеком умным, очень осторожным и никогда бы не раскрылся перед первым встречным. Волков пытался выдавать себя за «друга дома», но Максим Шостакович как-то сказал: «Этого человека у нас в доме за столом я никогда не видел». Так что все это очень, очень нечистоплотная работа. И мне немало в свое время из-за нее крови попортили, да продолжают и сегодня...

— В вашем анкете — более стаopusов, среди которых немало оркестровых произведений. Вы, наверное, очень много работаете — и живете по принципу «ни дня без строчки»?

— Принцип этот очень хорош, но сказать так о себе я, к сожалению, не имею права. Я постоянно стремлюсь к этому, однако достичь никак не могу.

— А какие из своих сочинений вы считаете наиболее удавшимися, наиболее любимыми?

— Ну, это немного разные вещи — «наиболее удавшиеся» и любимые. По-